

Глеб Иванович Успенский

Старый бурмистр



Глеб Иванович Успенский
Старый бурмистр
Серия «Очерки переходного
времени», книга 4

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666135

Аннотация

В рассказе «Старый бурмистр» Успенский продолжает поиски ответа на «проклятые вопросы деревенской жизни», что столь характерно для его творчества 80-х годов. Недостатки и тяготы реформы 1861 года оказались настолько значительными, что заставили иных крестьян вспоминать о временах крепостного права, когда «земледельческо-хозяйственная организация деревни» была значительно крепче и опытные бурмистры следили за порядком в деревенской общине.

Содержание

1	4
2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Глеб Иванович Успенский

Старый бурмистр

1

– Ишь вон, ноне какие порядки-то, – эва-а!.. Вот так богомолец: идет на богомолье, а в обоих карманах по штофу водки! Паа-аррядок! Уж нечего сказать, хорошие пошли порядки!

– Господи, – воскликнул один из моих спутников, – опять «порядок»! опять о «порядке», опять «порядку нет»! И в поле-то, и в лесу-то нет покоя от этих разговоров!

Действительно, дело было в чистом поле.

Два гимназиста, гостившие в деревне у родственников, сельский учитель и пишущий эти заметки в один славный летний вечер шли путем-дорогою, направляясь вместе с другими богомольцами в один из тех маленьких, третьеклассных монастырей, которых так много в Новгородской губернии. Шли мы берегом реки Волхова, по старой Аракчеевской дороге¹, густо обсаженной березником, – шли, насла-

¹ *Аракчеевская дорога.* – А. А. Аракчеев (1769–1834) – всесильный временщик при Павле I и Александре I. В 1806 году ему была поручена организация военных поселений, куда направлялись армейские полки и дивизии. В военных поселениях царил палочный казарменный режим, неоднократно вызывавший восстания поселенцев. В Новгородской губернии, состоявшей под непосредствен-

ждаясь самым процессом ходьбы, молчанием дороги, молчанием реки. Все мы, отправляясь пешком на богомолье, делали это в видах отдохновения от разговоров об этих «порядках» и «непорядках», которые уже достаточно истомили нас в столице. И вот, едва только мы «разошлись», только стали входить во вкус физического утомления, как опять уже преследует нас мудрствование какого-то богомольца, похожего на старого отставного солдата, мудрствование, как нам было хорошо известно, всегда почти бесплодное.

Дело в том, что толки о порядках и непорядках, а вместе с толками и бесплодность их, в настоящее время составляют не только достояние столичной, газетной или журнальной беседы, но сделались необходимейшею принадлежностью и всякого деревенского разговора. Если вы разговариваете не о хозяйстве, не об умолоте или урожае, то, наверное, ваша деревенская беседа идет о «порядках и непорядках», причем бесплодность этой беседы в деревне для вас, постороннего человека, осложняется тем важным обстоятельством, что, во-первых, сами вы посторонний деревне человек, крайне мало понимаете условия народной жизни и иногда в целых, повидимому весьма убедительно произнесенных, тирадах не можете видеть ничего, кроме бессмыслицы; а во-вторых, — и это главным образом, — тем, что разговаривают о по-

ным начальством Аракчеева, было размещено три дивизии. Их подневольными трудами местность была относительно благоустроена, в частности проведены и обсажены деревьями дороги.

рядках и непорядках большею частию старики, люди, у которых было известное, определенное прошлое и которым судьба судила дивоваться на нечто новое, крайне разнообразное и многосложное. Судите же теперь, в какой мере может быть плодотворна беседа, если один из беседующих не понимает ни точки зрения собеседника, ни его языка, а другой старается разобрать новые, совершенно ему незнакомые, небывалые для него явления, руководствуясь только старою точкой зрения. Послушайте, для примера, о чем говорят вот эти две старухи, сидящие вечерком на завалинке.

– Нониче, – почему-то укоризненно говорит одна из них, – нониче нешто такой народ-то стал?.. И-и, ра-ади-мая, кабы нонешнюю которую псовку да в нашу бы шкуру, так ведь она что бы страму-то натворила! Поглядеть-то на нонешнюю страмоту, так и то сердце разрывается! Ну, а как же, – спросила бы я ее, псовку, – как же, мол, мы-то терпели?.. Как же вот, примером, хоть я бы себя взяла, – как же, мол, я-то со-о-орок годочков от слез свету белого, каков только свет белый есть, не видала? Как же я-то понимала свою часть и терпела? Бывало, покойник-то ведь всеё-то меня истиранит: и зубушки-то болят, крохи просунуть не могу, скулы-то свело; и лицо-то, милая ты моя, бывало, измордует покойник, что чугуна станет черное... А все терплю. Плачу, а терплю, – пони-маю!.. А нониче? – Па-ади-ко, тронь ее, псовку, так ведь она тебя со свету сживет... Пальцем ты ее коснись – и то она настрамит на весь уезд... Ни у нее нету стыда, ни у нее нету

страху!

— А так вот, — прибавляет собеседница, — распустила хвост — и вся забота! Нешто, красавица ты моя, есть у них стыд-то? Да нисколько!.. Как же, родимая ты моя, спрошу я тебя, мы-то, окаянные?..

И так идет длинный разговор, из которого недеревенский слушатель не вынесет ничего, кроме недоумения. Почему худо, что теперешние «псовки» не позволяют мужьям тиранить себя? Почему они — псовки? Почему старинное тиранство в разговорах старух как бы предпочитается неудобствам этого тиранства теперь? Почему старинное тиранство переносилось с таким железным терпением?.. Все это для недеревенского слушателя утомительная и бесплодная тайна, — тайна, которая, разумеется, разрешилась бы для него, если б он дал себе труд добиться подлинного смысла таких, например, выражений в разговоре старух, как «знала свою *часть*», «понимала», если бы он допытался у старух, что это за «часть» такая, во имя которой можно бить человека до того, что лицо у него станет «как чугун черное»? и доподлинно бы узнал, что именно старуха выражает словом «понимала». Тогда, разумеется, он бы понял, почему нынешнее время, когда женщины не позволяют себя бить, хуже прошлого, когда их били до полусмерти. Но недеревенский слушатель деревенских разговоров нетерпелив: он, прежде всего, спешит отдохнуть, затем он ждет не вопросов, а ответов на вопросы, выраженные газетным языком, и нет ему ни времени, ни возможно-

сти сосредоточивать свое внимание на таких выражениях деревенского разговора, которые значат в нем *все*, дают объяснение всей кажущейся ему бессмыслицы и которые, на беду, именно и проходят мимо его столичных ушей.

С ранней весны, на наше общее несчастье, все мы, случайные деревенские посетители, постоянно, ежедневно и ежедневно разговаривали и слышали разговоры о порядках и непорядках. Более двух самых лучших летних месяцев мы имели несчастье ничего не понимать в тех невозможных (на наш взгляд) параллелях, которые вели старики, сравнивая старое с новым. Мы решительно не понимали, почему, например, разбранив нынешние порядки, старик собеседник давал им объяснение выражением: «а все воля!» Не понимали, почему, говоря о том, что теперь все «чаи да сахара», необходимо прибавить выражение: «а как выдрал бы его, всыпал бы ему пятьдесят, – так он бы и чувствовал!» Не понимали, почему, говоря о том, что теперешние девки норуют одеться почище, следует закончить речь словами: «а отчего? Оттого, что страху нет!» Словом, если читатель представит себе, что мы два с лишком месяца только и слышали: «порядки», «непорядки», «нет страху», «чаи да сахара», «воля», «хвосты распустила», «трубочки», «самоварчики», «нет, кабы взять бы палку» и т. д., и ничего в этом не понимали, – то он поймет то негодование, которого не мог не высказать один из наших спутников, когда, даже в поле, вдали от столицы, от газеты, вдали даже от деревни, слыша-

лась так бесплодно утомившая нас речь и о том же бесплодно-утомительном предмете.

Мы было хотели идти пошибче, чтобы оставить собеседника за собой, но он сам не отставал от нас. Он рад был поговорить и ускорял шаг, заметив, что мы делаем то же. Он был длинен, худ, походил не то на старого солдата, не то на деревенского бобыля. Длинные, худые ноги его, обутые в онучи и лапти, проворно и легко ступали по каменистой, плохо уезженной дороге, а худая, костлявая рука спокойно делала большие размахи дорожною палкой. И, не отставая от нас, он медленно произносил по словечку те самые премудрые мнения о «самоварах», «чаях» и прочих непорядках, от которых мы с таким нетерпением стремились отделаться хоть на один день. Говорил он мягким, надорванным голосом, который невольно располагал к беседе, но мы упорно воздерживались от нее.

– Нет, – наконец проговорил он, как бы оживившись, – ежели бы нынешние порядки да при покойнике графе, так что бы только было!.. И-и-и, владыко праведный!.. И-и, сказать нельзя!

В этой фразе чувствовалось уже «повествование», желание, прекратив бесплодные рассуждения, показать разницу порядков на факте. Неловко было не поддержать этого желания.

– При каком графе? – спросил учитель.

– А при Аракчееве графе. Я его очень даже хорошо пом-

ню... Уж бы-ыл нача-альник! Чисто антонов огонь!

Сравнение это рассмешило нас.

– Перед богом!.. Кажется, коснись его хошь вот пальцем, так тебя и опалит всего полымем! Уж можно сказать, что уж... Бывало, кучера-то, которые его важивали, рассказывают: сидишь, говорят, на козлах, а у самого дух мрет, руки и ноги коченеют; гонишь лошадей, а сам бездыханен! Пригонишь к станции, так и хлопнешься об землю.

– Отчего ж это?

– Страху имел в себе. Столь много было в нем, значит, испугу этого самого... Нос у него, у покойника, был этаким мясистый, толстый, сизый, значит, с сизиной... И гнусавый был, гнусил... Идет ли, едет ли, все будто мертвый, потому глаза у него были тусклые и так оказывали, как, примером сказать, гнилые места вот на яблоках бывают: будто глядит, а будто нет, будто есть глаза, а будто только гнилые ямы... Вот в этаким-то виде – едет ли, идет ли – точно мертвец холодный, и нос этот самый сизый, мясистый, висит... А чуть раскрыл рот – и загудит, точно из-под земли или из могилы: «Па-а-л-лок!» Да в нос, – гнусавый был... «Па-а-л-лок!..» Это уж, стало быть, что-нибудь заприметил... И только его и слов было, а то все как мертвый. И уж точно, пуще огня боялись! Уж ежели бы ему на глаза попал поселенец, у которого в обоих карманах водка, так уж он бы дал бы ему понятие. Вовек бы помнил, что такое значит винцо, и детям бы заказал. Так вот какой был человек!.. Бывало, только крик-

нет кто-нибудь: «граф идет!» – так и грохнешься об землю без дыхания... Ну, а был порядок, уж этого отнять нельзя, у-ух какой был порядок – во всем! За что ни возьмись: что скотина, что пашня – все первый сорт! То есть, бывало, до такой степени, например, вникал, что уж на что, кажется, бабы или бабьи дела какие, а и то чувствовали графский глаз: бывало, иная хлебы не домесила или худо просеяла, – уж это не пройдет ей даром, уж он ее, покойник, выучит, как хлебы печь!.. А нониче иная, шкура, печет хлеб точно не людям, а свиньям: кажется, взять ковригу да хлопнуть об стену, так она и прилипнет, как замазка. Что же это за хлеб? Нешто это можно назвать печеньем?

Очевидно, опять началась одна из невозможных и невыносимых параллелей прошлого с настоящим, параллелей, где палки чередовались с бабами, бабы с плац-майорами, скот со строгостью и т. д. Учитель не выдержал этой пытки и воскликнул:

– Да что такое, скажи пожалуйста, за порядки такие были? Все палки да палки, а выходит, что были какие-то порядки? Что такое было? Какие порядки?

Вопрос этот, требовавший решительного ответа, на мгновение озадачил старика, как озадачивал всех других стариков, с которыми нам приходилось трактовать о порядках. Но старик скоро оправился и с какою-то особенною живостью сказал:

– Извольте! Вот какие были порядки!..

Ужасы, о которых в сильном волнении стал повествовать прохожий, перемешанные с попытками объяснить их в нравоучительном смысле, ясно свидетельствовали, что рассказчик и сам знал палку, был сам изувечен ею, изувечен не только физически, но и нравственно. Она выбила в нем его добрую душу, первенствовала в ней, затмевала впечатления божьего мира, и он, отвыкший от понимания жизни по-человечески, рассказывал о палке в каком-то глубоком помрачении ума. К концу рассказа он так был утомлен напряжением мысли, что некоторое время не мог произнести слова, и только очнувшись немного, мог прерывающимся топотом пролепетать:

– Так... был... порядок!..

И закашлялся.

Да и мы все устали от этого рассказа и тоже сели отдохнуть. Старик уж более ничего не говорил; ему казалось, что он вполне разъяснил нам всю суть порядков прошлого. Он только дышал тяжело, вытирал рукавом пот, кряхтел:

– Вот какой был сурьезный, дьявол!..

Последнее слово как-то внезапно сорвалось с его языка, так что мы все невольно улыбнулись, а старик поправился, прибавив:

– Прости, господи, мое согрешение!

Опасаясь, чтоб он вновь не начал речи все о том же, чтобы вновь не возвратился к параллелям, мы предпочли продолжать путь.

– Ступайте, ступайте с богом! – сказал нам старик на прощанье. – Слабы стали ноги-то. Посижу, подожду тут у дороги, не подвезет ли кто?

Мы расстались, но, как увидит читатель, ненадолго: судьба сулила нам новую встречу в том же роде. Не подозревая, однако, этой беды, мы, оставив старика, почувствовали себя как будто свободнее. Правда, Аракчеевская дорога, по которой мы шли, благодаря недавней встрече пробуждала в нас не совсем веселые воспоминания: носастая, гнусавая фигура, мертвая на вид и мертво-молчаливая, с тусклыми, холодными глазами, поминутно рисовалась нашему воображению. По этой самой дороге не раз проносилась эта фигура, с полумертвым от страха кучером. Не раз эти деревни, вытянутые в линию, с остатками каких-то казенных выдумок в постройках, с душными, узенькими улицами, с домишками, плотно, как солдаты в шеренге, прижатыми друг к другу, – оглашались гнусавым возгласом: «па-алок!», криком, плачем или подавленным стоном среди гробового молчания. Скоро, однако, эти пытки воображения окончились, и мы, покинув Аракчеевскую дорогу, пошли по узкой лесной тропинке, проторенной богомольцами к монастырю. Дорога была узкая, а деревья густые, высокие. В лесу было темно и холодно. Солнце село; туман белыми клубами стал показываться то там, то сям в лесной чаще. Скоро стало очень трудно различать дорогу, и мы подвигались вперед, стараясь не отставать от других богомольцев, которые в темноте могли

быть узнаваемы только по шуму шагов да по разговору, так как различить в темноте, кто именно идет, — солдат, купец, крестьянин, мужик или баба, — уж не было возможности. Вверху, над лесом, едва белелась полоска неба, где мигали звезды; но ни небо, ни звезды не давали света.

Добрались мы до обители часу в первом ночи. Маленький, старый, одинокий монастырь, сооруженный еще во времена «великого» Новгорода, стоял на низменной полянке, среди густого леса. Здесь было светлей, чем в лесу, — белые стены монастыря немало помогали этому, — но туман лежал на земле густым, как вата, белым слоем, кое-где клубясь большими белыми комьями. В тумане слышались разговоры, иногда смех. Вся монастырская ограда была обложена спавшим народом. Небольшая гостиница была также битком набита народом: и в комнатах, и в коридорах, и даже на чердаке, везде народ лежал вповалку и, кажется, не спал, так как все как будто шевелились, жались, вздыхали, а иногда довольно явно слышалось неистовое чесанье кожи и шопот: «Ах, едят-то, проклятые!.. Так и горит кожа-то».

Обойдя гостиницу и не найдя ни единого свободного угла, мы долгое время гуляли вокруг монастыря, не зная, как убить время. Трактир — холстинный балаган — был заперт, и трактирщик, очевидно улегшийся спать, вел с нами переговоры весьма неохотно. «Нету! — отвечал он сурово на все наши требования. — Завтра поутру». Но потом смиростивился и спросил: «Лимонаду не угодно ли?» Но лимонаду мы

де пожелали, и трактирщик сделал нам новое предложение: «Вобла есть, – не угодно ли?» Когда и это предложение принято не было, трактирщик замолк, и мы опять пошли бродить. Кроме трактира, неподалеку от монастырской ограды выстроились две палатки с пряниками и орехами. Но и они не торговали. Осмотрев все это, мы, наконец, должны были где-нибудь и как-нибудь отдохнуть. Разыскав небольшой стог сена, своевольно его растеребили и улеглись.

Холод ночи и сырая трава не представляли удобств для отдохновения. Можно было лежать, но спать не представлялось никакой возможности. Лежим, молчим, смотрим на беловатое, усеянное бледными звездами, небо. Народ подходит из лесу и тоже устраивается где попало. Чем глуше ночь, тем меньше сна... На дворе холодно, а в гостинице «едят». То и дело оттуда выходят, а иной раз выбегают мужчины и женщины и, шопотом проклиная что-то, стараются примоститься где-нибудь на траве. Там и сям все чаще и чаще слышатся разговоры. Даже песня откуда-то донеслась.

И слышу я опять знакомую речь.

– И что будет, – произносит знакомый голос аракчеевца, – единому только богу известно!

– Что будет? – прибавляет другой, но уже незнакомый, голос. – Больше ничего не будет, окромя что господь повелит, то и будет!

Итак, вместо одного исследователя старых и новых порядков, неумолимая судьба послала нам в тот же день и в тот же

вечер двух. Аракчеевец, вероятно, нашел себе попутчика и приехал в то время, когда мы разыскивали себе ночлег.

Хотя двух вместо одного и было многовато на нынешний вечер, но волей-неволей пришлось слушать их разговоры: спать не было возможности, а разговаривавшие лежали недалеко.

– Конечно, – после незначительного молчания начал незнакомый голос, – конечно, господь, по своему великому милосердию, еще жалеет нас, подлецов, не забывает нас, дает указания... Примером скажем, вот теперича скот падает, или вот градом выбьет, или пожаром посетит, все это означает, что господь еще не совсем нас оставил, а что нас помнит, хочет вразумить, чтобы мы, безумные, почувствовались. Н-но... я так думаю, что мало нам этого!

– Мало! – с сокрушением сказал аракчеевец и тоном своего голоса еще раз *доказал*, что в нем была добрая, мягкая душа, только зачарованная могуществом палки. – Перед богом говорю: мало нам этого, мало!

Оба собеседника вздыхают, покряхтывают и опять вздыхают.

– По нонешним временам, – снова начинает незнакомец, – нам так требуется, чтобы господь за наши грехи, за наше лицемерство, богоотступство и всякое свинство, чтобы он без отдыху бы, без пощады бы стал искоренять нашего брата, – н-ну, тогда, быть может, и будет толк!

– Нет, – добродушно перебил аракчеевец, – мало! Поверь

ты мне, мало этого! Ничего это не составляет... Нет, не составляет, – не такой народ! Ты его ежели бы, например, огнем выжег весь или же потопом потопил, и то он не почувствуется и не вступит в раскаяние! Вот как я думаю!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.